

At nunc patientia servilis tantumque sanguinis domi perditum fatigant animum et moestitia restringunt, neque aliam defensionem ab iis, quibus ista noscentur, exegerium, quam ne oderim tam segniter pereuntes.

*Tacitus. Annales. Giber XVI**

Предисловие

Представляемый здесь рассказ имеет целию не столько описание каких-либо событий, сколько изображение общего характера целой эпохи и воспроизведение понятий, верований, нравов и степени образованности русского общества во вторую половину шестнадцатого столетия.

Оставаясь верным истории в общих ее чертах, автор позволил себе некоторые отступления в подробностях, не имеющих исторической важности. Так, между прочим, казнь Вяземского и обоих Басмановых, случившаяся на деле в 1570 году, помещена, для сжатости рассказа, в 1565 год. Этот умышленный анахронизм едва ли навлечет на себя строгое порицание, если принять в соображение, что бесчисленные казни, последовавшие за низвержением Сильвестра и Адашева, хотя много служат к личной характери-

* А тут рабское терпение и такое количество пролитой дома крови утомляет душу и сжимает ее печалью, я не стал бы просить у читателей в свое оправдание ничего другого, кроме позволения не ненавидеть людей, так равнодушно погибающих.

Тацит. Летопись. Книга XVI (лат.).

стике Иоанна, но не имеют влияния на общий ход событий.

В отношении к ужасам того времени автор оставался постоянно ниже истории. Из уважения к искусству и к нравственному чувству читателя он набросил на них тень и показал их, по возможности, в отдалении. Тем не менее он сознается, что при чтении источников книга не раз выпадала у него из рук и он бросал перо в негодование, не столько от мысли, что мог существовать Иоанн IV, сколько от той, что могло существовать такое общество, которое смотрело на него без негодования. Это тяжелое чувство постоянно мешало необходимой в эпическом сочинении объективности и было отчасти причиной, что роман, начатый более десяти лет назад, окончен только в настоящем году. Последнее обстоятельство послужит, быть может, некоторым извинением для тех неровностей слога, которые, вероятно, не ускользнут от читателя.

В заключение автор полагает нелишним сказать, что чем вольнее он обращался со второстепенными историческими происшествиями, тем строже старался соблюдать истину и точность в описании характеров и всего, что касается до народного быта и до археологии.

Если удалось ему воскресить наглядно физиономию очерченной им эпохи, он не будет сожалеть о своем труде и почтет себя достигшим желанной цели.

1862 г.

Глава 1

ОПРИЧНИКИ

Лета от сотворения мира семь тысяч семьдесят третьего, или, по нынешнему счислению, 1565 года, в жаркий летний день, 23 июня, молодой боярин князь Никита Романович Серебряный подъехал верхом к деревне Медведевке, верст за тридцать от Москвы.

За ним ехала толпа ратников и холопей.

Князь провел целых пять лет в Литве. Его посылал царь Иван Васильевич к королю Жигимонту подписать мир на многие лета после бывшей тогда войны. Но на этот раз царский выбор вышел неудачен. Правда, Никита Романович упорно отстаивал выгоды своей земли и, казалось бы, нельзя и желать лучшего посредника, но Серебряный не был рожден для переговоров. Отвергая тонкости посольской науки, он хотел вести дело начистоту и, к крайней досаде сопровождавших его дьяков, не позволял им никаких изворотов. Королевские советники, уже готовые на уступки, скоро воспользовались простодушием князя, выведали от него наши слабые стороны и увеличили свои требования. Тогда он не вытерпел: среди полного сейма ударил кулаком по столу и разорвал dokonчальную грамоту, приготовленную к подписанию. «Вы-де и с королем вашим вьюны да оглядчики!

Я с вами говорю по совести, а вы всё норовите, как бы меня лукавством обойти! Так-де чинить неповадно!» Этот горячий поступок разрушил в один миг успех прежних переговоров, и не миновать бы Серебряному опалы, если бы, к счастью его, не пришло в тот же день от Москвы повеление не заключать мира, а возобновить войну. С радостью выехал Серебряный из Вильно, сменил бархатную одежду на блестящие бахтерцы и давай бить литовцев, где только бог посылал. Показал он свою службу в ратном деле лучше, чем в думном, и прошла про него великая хвала от русских и литовских людей.

Наружность князя соответствовала его нраву. Отличительными чертами более приятного, чем красивого лица его были простосердечие и откровенность. В его темно-серых глазах, осененных черными ресницами, наблюдатель прочел бы необыкновенную, бессознательную и как бы невольную решительность, не позволявшую ему ни на миг задуматься в минуту действия. Неровные взъерошенные брови и косая между ними складка указывали на некоторую беспорядочность и непоследовательность в мыслях. Но мягко и определенно изогнутый рот выражал честную, ничем не поколебимую твердость, а улыбка — беспритязательное, почти детское добродушие, так что иной, пожалуй, почел бы его ограниченным, если бы благородство, дышащее в каждой черте его, не ручалось, что он всегда достигнет сердцем, чего, может быть, и не сумеет объяснить себе умом. Общее впечатление было в его пользу и рождало убеждение, что можно смело ему довериться во всех случаях, требующих решимости и самоотвержения, но что обдумывать свои поступки не его дело и что соображения ему не даются.

Серебряному было лет двадцать пять. Роста он был среднего, широк в плечах, тонок в поясе. Густые русые волосы его были светлее загорелого лица и составляли противоположность с темными бровями и черными ресницами. Короткая борода, немного темнее волос, слегка оттеняла губы и подбородок.

Весело было теперь князю и легко на сердце возвращаться на родину. День был светлый, солнечный, один из тех дней, когда вся природа дышит чем-то праздничным, цветы кажутся ярче, небо голубее, вдали прозрачными струями зыблется воздух, и человеку делается так легко, как будто бы душа его сама перешла в природу, и трепещет на каждом листе, и качается на каждой былинке.

Светел был июньский день, но князю, после пятилетнего пребывания в Литве, он казался еще светлее. От полей и лесов так и веяло Русью.

Без лести и кривды радел Никита Романович к юному Иоанну. Твердо держал он свое крестное целование, и ничто не пошатнуло бы его крепкого стоятельства за государя. Хотя сердце и мысль его давно просились на родину, но если бы теперь же пришло ему повеление вернуться на Литву, не увидя ни Москвы, ни родных, он без ропота поворотил бы коня и с прежним жаром кинулся бы в новые битвы. Впрочем, не он один так мыслил. Все русские люди любили Иоанна всею землею. Казалось, с его праведным царством настал на Руси новый золотой век, и монахи, перечитывая летописи, не находили в них государя, равного Иоанну.

Еще не доезжая деревни, князь и люди его слышали веселые песни, а когда подъехали к околице, то увидели, что в деревне праздник. На обоих концах улицы

парни и девки составили по хороводу, и оба хоровода несли по березке, украшенной пестрыми лоскутьями. На головах у парней и девок были зеленые венки. Хороводы пели то оба вместе, то чередуясь, разговаривали один с другим и перекидывались шуточной бранью. Звонко раздавался между песнями девичий хохот, и весело пестрели в толпе цветные рубахи парней. Стаи голубей перелетали с крыши на крышу. Все двигалось и кипело; веселился православный народ.

У околицы старый стремянный князь с ним поравнялся.

— Эхва! — сказал он весело. — Вишь, как они, батюшка, тетка их подкурятина, справляют Аграфену Купальницу-то! Уж не поотдохнуть ли нам здесь? Кони-то заморились, да и нам-то, поемши, веселее будет ехать. По сытому брюху, батюшка, сам знаешь, хоть обухом бей!

— Да, я, чай, уже недалеко до Москвы! — сказал князь, очевидно не желавший остановиться.

— Эх, батюшка, ведь ты сегодня уж разов пять спросал. Сказали тебе добрые люди, что будет отсюда еще поприщ за сорок. Вели отдохнуть, князь, право, кони устали!

— Ну добро, — сказал князь, — отдыхайте!

— Эй, вы! — закричал Михеич, обращаясь к ратникам. — Долой с коней, сымай котлы, раскладывай огонь!

Ратники и холопы были все в приказе у Михеича; они спешили и стали развязывать вьюки. Сам князь слез с коня и снял служилую бронь. Видя в нем человека роду честного, молодые прервали хороводы, старики сняли шапки, и все стояли, переглядываясь в недоумении, продолжать или нет веселие.

— Не чинитесь, добрые люди, — сказал ласково Никита Романович, — кречет соколам не помеха!

— Спасибо, боярин, — отвечал пожилой крестьянин. — Коли милость твоя нами не брезгает, просим покорно, садись на завалину, а мы тебе, коли соизволишь, медку поднесем; уважь, боярин, выпей на здоровье! Дуры, — продолжал он, обращаясь к девкам, — чего испугались? Аль не видите, это боярин с своею челядью, а не какие-нибудь опричники! Вишь ты, боярин, с тех пор как настала на Руси опричнина, так наш брат всего боится; житья нету бедному человеку! И в праздник пей, да не допивай; пойд, да оглядывайся. Как раз нагрянут, ни с того ни с другого, словно снег на голову!

— Какая опричнина? Что за опричники? — спросил князь.

— Да провал их знает! Называют себя царскими людьми. Мы-де люди царские, опричники! А вы-де земщина! Нам-де вас грабить да обдирать, а вам-де терпеть да кланяться. Так-де царь указал!

Князь Серебряный вспыхнул.

— Царь указал обижать народ! Ах они окаянные! Да кто они такие? Как вы их, разбойников, не перевяжете!

— Перевязать опричников-то! Эх, боярин! Видно, ты издалека едешь, что не знаешь опричнины! Попытайся-ка что с ними сделать! Ономясь наехало их человек десять на двор к Степану Михайлову, вон на тот двор, что на запоре. Степан-то был в поле, так они к старухе: давай того, давай другого. Старуха все ставит да кланяется. Вот они: давай, баба, денег! Заплакала старуха, да нечего делать, отперла сундук, вынула из тряпицы два алтына, подает со слезами: берите, только живу оставьте. А они говорят: мало! Да

как хватит ее один опричник в висок, так и дух вон! Приходит Степан с поля, видит: лежит его старуха с разбитым виском; он не вытерпел. Давай ругать царских людей: Бога вы не боитесь, окаянные! Не было б вам на том свету ни дна ни покрывки! А они ему, сердечному, петлю на шею, да и повесили на воротах!

Вздрогнул от ярости Никита Романович. Закипело в нем ретивое.

— Как, на царской дороге, под самую Москвою, разбойники грабят и убивают крестьян! Да что же делают ваши сотские да губные старосты? Как они терпят, чтобы станичники себя царскими людьми называли?

— Да, — подтвердил мужик, — мы-де люди царские, опричники; нам-де все вольно, а вы-де земщина! И старшие у них есть; знаки носят: метлу да собачью голову. Должно быть, и вправду царские люди.

— Дурень! — вскричал князь. — Не смей станичников царскими людьми величать!

«Ума не приложу, — подумал он. — Особые знаки? Опричники? Что это за слово? Кто эти люди? Как приеду на Москву, обо всем доложу царю. Пусть велит мне сыскать их! Не спущу им, как бог свят, не спущу!»

Между тем хоровод шел своим чередом.

Молодой парень представлял жениха, молодая девушка — невесту; парень низко кланялся родственникам своей невесты, которых также представляли парни и девки.

— Государь мой, тещушка, — пел жених вместе с хором, — упари мне пива! Государыня теща, напеки пирогов! Государь свояк, оседлай мне коня!

Потом, взявшись за руки, девки и парни кружились вокруг жениха и невесты, сперва в одну, потом

в другую сторону. Жених выпил пиво, съел пироги, изъездил коня и выгоняет свою родню:

— Пошел, тесть, к черту! Пошла, теща, к черту! Пошел, свояк, к черту!

При каждом стихе он выталкивал из хоровода то девку, то парня. Мужики хохотали.

Вдруг раздался пронзительный крик. Мальчик лет двенадцати, весь окровавленный, бросился в хоровод.

— Спасите! Спрячьте! — кричал он, хватаясь за полы мужиков.

— Что с тобой, Ваня? Чего орешь? Кто тебя избил? Уж не опричники ль?

В один миг оба хоровода собрались в кучу, все окружили мальчика, но он от страха едва мог говорить.

— Там, там, — произнес он дрожащим голосом, — за огородами, я пас телят... они наехали, стали колотить телят, рубить саблями, пришла Дунька, стала просить их, они Дуньку взяли, потащили, потащили с собой, а меня...

Новые крики перебили мальчика. Женщины бежали с другого конца деревни.

— Беда, беда! — кричали они. — Опричники! Бегите, девки, прячьтесь в рожь! Дуньку и Аленку схватили, а Сергевну убили насмерть!

В то же время показались всадники, человек с пятьдесят, сабли наголо. Впереди скакал чернобородый детина в красном кафтане, в рысьей шапке с парчовым верхом. К седлу его привязаны были метла и собачья голова.

— Гойда! Гойда! — кричал он. — Колите скот, рубите мужиков, ловите девок, жгите деревню! За мной, ребята! Никого не жалеть!

Крестьяне бежали куда кто мог.

— Батюшка! Боярин! — вопили те, которые были ближе к князю. — Не выдавай нас, сирот! Оборони горемычных!

Но князя уже не было между ними.

— Где ж боярин? — спросил пожилой мужик, оглядываясь на все стороны. — И след простыл! И людей его не видать! Ускакали, видно, сердечные! Ох, беда неминуемая, ох, смерть нам настала!

Детина в красном кафтане остановил коня.

— Эй, ты, старый хрен! Здесь был хоровод, куда девки разбежались?

Мужик кланялся молча.

— На березу его! — закричал черный. — Любит молчать, так пусть себе молчит на березе!

Несколько всадников сошли с коней и накиннули мужику петлю на шею.

— Батюшки, кормильцы! Не губите старика, отпустите, родимые! Не губите старика!

— Ага! Развязал язык, старый хрыч! Да поздно, брат, в другой раз не шути! На березу его!

Опричники потащили мужика к березе. В эту минуту из-за избы раздалось несколько выстрелов, человек десять пеших людей бросились с саблями на душегубцев, и в то же время всадники князя Серебряного, вылетев из-за угла деревни, с криком напали на опричников. Княжеских людей было вполонину менее числом, но нападение совершилось так быстро и неожиданно, что они в один миг опрокинули опричников. Князь сам рукоятью сабли сшиб с лошади их предводителя. Не дав ему опомниться, он спрыгнул с коня, придавил ему грудь коленом и стиснул горло.

— Кто ты, мошенник? — спросил князь.

— А ты кто? — отвечал опричник, хрипя и сверкая глазами.

Князь приставил ему пистольное дуло ко лбу.

— Отвечай, окаянный, или застрелю как собаку!

— Я тебе не слуга, разбойник, — отвечал черный, не показывая боязни. — А тебя повесят, чтобы не смел трогать царских людей!

Курок пистоли щелкнул, но кремень осекся и черный остался жив.

Князь посмотрел вокруг себя. Несколько опричников лежали убитые, других княжеские люди вязали, прочие скрылись.

— Скрутите и этого! — сказал боярин и, глядя на зверское, но бесстрашное лицо его, не мог удержаться от удивления.

«Нечего сказать, молодец! — подумал князь. — Жаль, что разбойник!»

Между тем подошел к князю стремянный его, Миеич.

— Смотри, батюшка, — сказал он, показывая пук тонких и крепких веревок с петлями на конце. — Вишь, они какие осилы возят с собою! Видно, не впервой им душегубствовать, тетка их подкурятина!

Тут ратники подвели к князю двух лошадей, на которых сидели два человека, связанные и прикрученные к седлам. Один из них был старик с кудрявою седою головой и длинною бородой. Товарищ его, черноглазый молодец, казался лет тридцати.

— Это что за люди? — спросил князь. — Зачем вы их к седлам прикрутили?

— Не мы, боярин, а разбойники прикрутили их к седлам. Мы нашли их за огородами, и стража к ним была приставлена.

— Так отвяжите их и пустите на волю!

Освобожденные пленники потягивали онемелые члены, но, не спеша воспользоваться свободой, остались посмотреть, что будет с побежденными.

— Слушайте, мошенники, — сказал князь связанным опричникам, — говорите, как вы смели называться царскими слугами. Кто вы таковы?

— Что, у тебя глаза лопнули, что ли? — отвечал один из них. — Аль не видишь, кто мы? Известно кто! Царские люди, опричники!

— Окаянные! — вскричал Серебряный. — Коли жизнь вам дорога, отвечайте правду!

— Да ты, видно, с неба свалился, — сказал с усмешкой черный детина, — что никогда опричников не видал! И подлинно с неба свалился! Черт его знает откуда выскочил, провалиться бы тебе сквозь землю!

Упорство разбойников взорвало Никиту Романовича.

— Слушай, молодец, — сказал он, — твоя дерзость мне было пришлось по нраву, я хотел было пощадить тебя. Но если ты сейчас же не скажешь мне, кто ты таков, как бог свят, велю тебя повесить!

Разбойник гордо выпрямился.

— Я Матвей Хомяк! — отвечал он. — Стремянный Григория Лукьяновича Скуратова-Бельского; служу верно господину моему и царю в опричниках. Метла, что у нас при седле, значит, что мы Русь метем, выметаем измену из царской земли, а собачья голова — что мы грызем врагов царских. Теперь ты ведаешь, кто я; скажи ж и ты, как тебя называть-величать, каким именем помянуть, когда придется тебе шею свернуть?

Князь простил бы опричнику его дерзкие речи. Бесстрашие этого человека в виду смерти ему нра-

вилось. Но Матвей Хомяк клеветал на царя, и этого не мог снести Никита Романович. Он дал знак ратникам. Привыкшие слушаться боярина и сами раздраженные дерзостью разбойников, они накинули им петли на шеи и готовились исполнить над ними казнь, незадолго перед тем угрожавшую бедному мужику.

Тут младший из людей, которых князь велел отвязать от седел, подошел к нему.

— Дозволь, боярин, слово молвить.

— Говори!

— Ты, боярин, сегодня доброе дело сделал: вызволил нас из рук этих собачьих детей, — так мы хотим тебе за добро добром заплатить. Ты, видно, давно на Москве не бывал, боярин. А мы так знаем, что там деется. Послушай нас, боярин. Коли жизнь тебе не постыла, не вели вешать этих чертей. Отпусти их, и этого беса, Хомяка, отпусти. Не их жаль, а тебя, боярин. А уж попадутся нам в руки, вот те Христос, сам повешу их. Не миновать им осила, только бы не ты их к черту отправил, а наш брат!

Князь с удивлением посмотрел на незнакомца. Черные глаза его глядели твердо и пронизательно; темная борода покрывала всю нижнюю часть лица, крепкие и ровные зубы сверкали ослепительной белизной. Судя по его одежде, можно было принять его за посадского или за какого-нибудь зажиточного крестьянина, но он говорил с такою уверенностью и, казалось, так искренно хотел предостеречь боярина, что князь стал пристальнее вглядываться в черты его. Тогда показалось князю, что на них отпечаток необыкновенного ума и сметливости, а взгляд обнаруживает человека, привыкшего повелевать.